

ПРИГОВ

Москва с ее театральностью, «синими» троллейбусами, шумными трамваями, кольцом наполненных тополиным пухом бульваров, читающими и стоящими в очередях москвичами, оживает в этих хрониках.

ВИТАЛИЙ
ПАЦЮКОВ

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ
ЭХА

МАКСИМ ГУРЕЕВ



Максим Гуреев

Пригов. Пространство для эха

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1.09 Пригов Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Пригов. Д.

Гуреев М. А.

Пригов. Пространство для эха / М. А. Гуреев — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-098705-4

О Дмитрие Александровиче Пригове, выдающемся представителе советской неофициальной культуры, говорят как об универсальном художнике, экспериментаторе, эпатирующем новаторе – а он просто жил и делал то, что считал нужным. Просто писал. Просто рисовал. «Добрый, нервный, нежный, ранимый Дмитрий Александрович, – пишет его друг Евгений Попов, – это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов. И так – до бесконечности».

УДК 821.161.1.09 Пригов Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Пригов. Д.

ISBN 978-5-04-098705-4

© Гуреев М. А., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Предисловие	6
Пролог	8
Родина электричества	11
1986 год	11
2007 год	19
Послесловие	27
Текстология	28
Москвадва	28
Куликово	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Максим Гуреев

Пригов. Пространство для эха

© Гуреев М., текст 2018

© Попов Е., предисловие, 2018

© Пацюков В., послесловие, 2018

© Гуреев. М., фотографии, 2018

© Долгин А., фото, 2018

© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Предисловие Это наш Пригов

Я, когда с Приговым познакомился в 1980 году, совершенно не знал, кто он такой. Ибо был он тогда полностью сформировавшимся продуктом андеграунда, где считалось хорошим тоном сказать: «Стихи твои, товарищ, такое дерьмо, что их можно даже и в журнале «Юность» напечатать». Я же только-только в андеграунд был низвергнут после кратчайшего (7 месяцев 13 дней) пребывания в Союзе советских писателей и только-только осваивал это новое для меня пространство.

Исторически сложилось так, что мы с Д.А. тогда крепко подружились не только на почве взаимных занятий литературой и сопутствующего этому процессу навязчивого внимания КГБ к нашим скромным персонам, но и потому, что жили мы по московским меркам рядом. Он в Беляево, я в Теплом Стане, встречались чуть ли не ежедневно.

Мало кто знает, что в 1984 году Д.А. крестился в православную веру и я стал его крестным отцом в прямом смысле этого слова. Отмечу, что Пригову я в крестные не навязывался, он сам меня об этом попросил и был крайне серьезен, торжествен, отнесся к крещению безо всякого там *постмодернизма* или, упаси бог, *концептуализма* (мир обоим этим литературно-художественным начинаниям).

Ну а когда уже *стало можно* и КПСС вдруг объявила «перестройку», то в тогдашней «Литературной газете» состоялась первая *официальная* публикация стихов Д. А. Пригова, предваряемая, так уж исторически сложилось, моим кратким предисловием, где были слова о том, что Пригов, которого считают родоначальником московского концептуализма, в моих глазах – «всего лишь» крупный русский лирический поэт. Не больше, но уж никак не меньше.

Взгляд, возможно что и варварский, но я до сих пор уверен – верный.

Вот его стихи, написанные им в начале 60-х, задолго до «милищанера», «образа Рейгана в советской литературе», инсталляций и перформансов:

Небо с утра позадернуто тучами,
День по-особенному неуютен.
Так вот живу я, как будто бы мучают,
Будто бы жить на земле не дают.

Кто не дает? Все дают понемножечку,
Этот дает и вот этот дает.
Так проясняется все понемножечку,
Время проходит, а жизнь не идет.

Добрый, нервный, нежный, ранимый человек был Дмитрий Александрович, который никогда ни на чем не настаивал. А просто жил. Просто писал. Просто рисовал. Пел советские песни. Танцевал. Играл на саксофоне. Кричал «кикиморой».

Дальнейшее всем известно не меньше, чем сама персона Д.А., которая теперь стала *культовой* (извините за это расхожее, но точное слово).

Искусство Пригова теперь принадлежит народу. Так теперь будет вечно.

Ведь в литературе каждый занимает свое место или не занимает его вообще.

Пригов – это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов, это наш Пригов.

И так – до бесконечности. И так теперь будет всегда.

Евгений Попов
20 июля 2018.
Удзано, Италия

Пролог

«К счастью, во мне еще не умер прямодушный и простой паренек из двора на углу Мытной улицы, близ Даниловского рынка».
Д. А. Пригов

Дмитрию Александровичу постоянно снится один и тот же сон: ему шесть лет, и он лежит в больничной палате, потолок которой населяют улетевшие туда простыни. Из застиранных наволочек и пододеяльников они свили себе гнезда и теперь живут в них.

Шестилетний мальчик боится закрыть глаза, чтобы не стать добычей десятилетнего идиота по прозвищу Вагон.

После отбоя, когда во всех палатах выключают свет (остаются гореть только лампы-дежурки в коридоре и на лестнице), Вагон выбирается из-под одеяла и начинает прыгать через кровати. Нередки случаи, когда идиоту не удается выполнить задуманное, и он падает на очередного спящего пациента детского санатория для больных полиомиелитом детей.

Свое прозвище Вагон получил неслучайно – хоть ему и десять лет, но на вид ему можно дать и все шестнадцать, у него огромная грушевидная голова, широченные плечи и не вмещающаяся ни в одни больничные шаровары задница.

И вот Дмитрию Александровичу снится, что Вагон подбирается к его кровати, стоящей у окна, придурковато щерится, мол, сейчас перепрыгну этого дохляка, разбегаются, но при отталкивании от паркета поскользывается и падает на него.

Погребает его под собой.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Болезнь разила моих сверстников весьма разнообразными, порой чрезвычайно изощренными способами... Некоторые... лишались разума при полнейшей, удивительной, даже переизбыточествовавшей возможности двигаться и скакать. И они скакали... Помню нависшее надо мной, в непосредственной близости от моего лица, глаза в глаза, нос в нос, дыхание в дыхание, лицо дегенерата... Тяжело, нездорово дыша, он грузно и неуклюже, прямо издевательски медленно, переползал, почти проплывал, как в невесомости, надо мной – недвижимым, холодным, еще пуще холодеющим от ужаса».

Дмитрий Александрович кричит во сне, потому что оказывается в бездонном вонючем, пахнущем потом и нестиранными кальсонами подzemелье, из которого нет выхода, и в ужасе просыпается.

Светает.

Над Беляево плывет слоистая туманная дымка.

Дмитрий Александрович выходит на балкон, чтобы почувствовать обжигающую прохладу раннего утра конца сентября.

Мысленно он соглашается с тем, что этот сон, видимо, будет преследовать его всегда, что к нему уже давно следует привыкнуть и не делать из его просмотра трагедию, а потому Дмитрий Александрович с удовольствием вдыхает пахнущий антоновкой, прелыми листьями, наполненный шелестом живущих теперь уже на небесах стиранных-перестиранных простыней осенний туман.

Выпускает его из ноздрей.

Выпускает пар изо рта.

Усмехается и качает головой: а ведь эти треклятые простыни и были во всем виноваты.

Тогда, когда лежал на больничной койке и смотрел на них, не отрываясь, наивно помышлял, что они отгонят от него сон и он не проспит нашествие Вагона – слабоумного Паши Звонарева.

Но все получалось совсем по-другому, наоборот получалось – простыни веяли ангельскими крылами, и верхние подвижные веки начинали трепетать, наливались свинцом да и обрушивались на глаза под воздействием всемогущего Гюпноса.

Какое-то время можно было еще бороться с этим обрушением, но вскоре мальчик изнемогал совершенно, утрачивал всяческую волю и впадал в призрачный болезненный полусон, который не то что не расслаблял всех его членов, но еще более сковывал их электрическим напряжением. Во всем теле наступал мучительный, доводящий до тошноты тремор, что гудел, как линия высоковольтных передач.

Падение же Звонарева оказывалось разрядом чудовищной мощности, после которого наступала непроглядная тьма, и сердце останавливалось.

И это уже потом парализованную часть тела обкладывали горячим парафином, из которого медсестра казашка Темирбулатова лепила фигурки «Айголек», «Тазша бала», «Кулегеш» и «Айдар косе».

Показывала их маленькому Диме и улыбалась.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Приходила вышеупомянутая капустообразная нянечка, отгоняла супостатов, приводила в порядок разбросанные вещи и мои перепутанные недвижимые члены. Обкладывала обжигающим парафином всю мою левую пораженную сторону, через то абсолютно нечувствительную к самым грубым касаниям, болезненным уколам огромной грязной иглой и к этому самому горячему, прямо раскаленному парафину. Прикрывала легким протершимся полушерстяным одеялом и садилась рядом. Она почему-то избрала меня своим любимцем – Господи, единственный раз кто-то избрал меня своим любимцем! Отдал предпочтение! А может, я заслужил? А? Ведь умненький был. Кудрявенький. Белокуренький. Смиранный и тонкий до синевы... я – тростиночка! кузнечик хромоногий! щепочка судеб исторических! тараканчик задымленных и небольших кухонь московских коммуналок! зайчик! мышка полукормленная! птенчик невесомый! цыпленочек! котеночек! тушканчик послевоенный! акридик повысохший!»

Дмитрий Александрович возвращается в комнату, садится к небольшому детскому столу, украшенному хохломской росписью, наудалую разрисованному красными сочными ягодами рябины и земляники на черном фоне, и начинает по памяти набрасывать шариковой ручкой портрет Вагона.

Вообще-то, тогда в послевоенном детстве у всех дворовых были свои прозвища-тотемы, которые придумывались, вероятно, для того, чтобы скрыть свое настоящее имя и не навлекать на него гнев Божий.

И вот прошло столько времени, а все эти клички помнятся – Свинья, Жердь, Толяка, Козырь, Кочура, Жаба.

Постепенно на листе бумаги облик идиота трансформируется, обрастает подробностями, вернее сказать, артефактами, более относящими его к классу земноводных – чешуей, змеиной кожей, вытянутым, нанизанным на острый хребет телом, которое заканчивается длинным перекрученным хвостом, перепонками между пальцев, узловатыми локтями, наконец, головой, совершенно лишенной всяческой растительности.

Да это уже и не Вагон никакой, а, например, Иосиф Бродский или Владислав Ходасевич, Марина Цветаева или Борис Гройс, Владимир Сорокин или Евгений Попов, Илья Кабаков или Лев Рубинштейн, Михаил Горбачев или Борис Ельцин, Владимир Путин или Григорий

Явлинский, Виктор Степанович Черномырдин или Владимир Вольфович Жириновский, Егор Гайдар или Анатолий Чубайс, ну и Дмитрий Александрович Пригов, наконец.

Вымышленные существа, которых еще в начале 50-х годов XX века в своем «Учебнике по фантастической зоологии» описал Борхес, сменяют друга, создавая полнейшую иллюзию движения, которое, впрочем, не приводит к перемещению в пространстве, но к видоизменению отдельно взятого существа, личности, обретающей таким образом возможность видеть себя, проявлять себя в различных ипостасях и коченеть таким образом.

Затянувшееся оцепенение нарушает ворвавшийся через открытую балконную дверь вой сорванной автомобильной сигнализации, которой Дмитрий Александрович отвечает четко и громко:

«Во мне есть несколько разделенных существований, которые вполне сводимы, но степень их свободы друг от друга достаточно велика. Да, я – натура не цельная, что просвещенческая антропологическая модель считает недостатком. Но мне повезло, что подспела постмодернистическая культура, которая сейчас заканчивается и в пределах которой пытаются отыскать некую новую цельность. Постмодернизм возник достаточно давно и просуществовал достаточно долго, и именно в нем я состоялся как творческая личность. А новое мне не в укор, я занял определенную нишу и в ней существую. Пускай другие продалбливают другие ниши...»

Сигнализация затихает, но после подобной звуковой интродукции, надо думать, половина дома 25 на улице Академика Волгина уже проснулась.

Слышно, как кто-то сверху ругается, а снизу чихает, у подъезда греет машину, а в парадном гремит мусоропроводом.

Дмитрий Александрович тем временем завершает портрет Паши Звонарева по прозвищу Вагон, откладывает его в сторону, освобождая тем самым место для новой работы, и выходит из комнаты.

Родина электричества

1986 год

«Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет...»

Андрей Платонов

- Пожалуйста, назовите свои имя, фамилию и отчество.
- Пригов Дмитрий Александрович.
- Когда и где вы родились?
- Пятого ноября тысяча девятьсот сорокового года в Москве.
- Какими заболеваниями страдали в детстве?
- Полиомиелитом.
- Раньше приходилось к нам обращаться?
- Да и сейчас не я к вам обратился...
- И все же.
- Нет, не приходилось.
- Хорошо, – на какое-то время врач замолкает, чтобы начать производить некие таинственные записи в медицинскую карту, которая больше похожа на блин.

Странно, но Дмитрий Александрович привык, что медицинская карта должна быть толстой, она должна быть не помещающимся на столе Талмудом, романом-эпопеей «Война и мир», исчерканным чернильными строками, неоднократно переклеенным бумагой и пластырем, с торчащими из него пожелтевшими справками и направлениями.

По крайней мере, так было в его детской поликлинике на Красина, куда он, уже учась в школе, ходил вместе с матерью, вернее, куда они брели через Садовое кольцо, он на костылях, горбились под порывами ветра, вздрагивали от автомобильных клаксонов, мать держала его за плечо, чтобы он не потерялся (хотя куда он мог деться – инвалид), оглядывались по сторонам, неотрывно смотрели, дабы удостовериться, что за ними никто не идет следом.

Нет, никто не шел тогда.

Сейчас же Дмитрий Александрович неотрывно смотрит на свои руки, сложенные на коленях, и думает о том, что у него короткие пальцы и круглые, напоминающие чайные блюдца ладони. Например, когда он аплодирует, то у него получается глухой чавкающий звук, как это бывает, когда со всей силы наступаешь резиновым сапогом в мелкую лужу, из которой тут же и выдавливаются пузыри в форме мутных подслеповатых глаз неведомой рептилии.

Переводит взгляд на подоконник, на котором стоит алюминиевый электрический чайник.

– А что вас сейчас беспокоит, Дмитрий Александрович? – врач откладывает в сторону медицинский блин.

– Переворот на Гаити беспокоит, убийство Улофа Пальме и, пожалуй, достижение кометой Галлея своего перигелия во время визита в Солнечную систему, кстати, второго по счету в XX веке, – и вновь натывается взглядом на свои ладони, которые ползают друг по другу.

– Интересно, – врач придвигается к столу, – Дмитрий Александрович, скажите, а вы мнительный человек?

– Думаю, что да.

– А в чем это проявляется?

Дмитрий Александрович неожиданно наклоняет голову направо, почти ложится ухом на плечо, и может показаться, что он прислушивается к чему-то, что звучит внутри него. Затем, выждав, когда боль в затылке станет невыносимой, резко меняет положение головы. При этом рот его сохраняется открытым, но не выпускающим из себя ни единого звука. Гудение крови в затылке нарастает, отчего спина инстинктивно распрямляется, словно наполняется сжатым воздухом, словно готовится вытолкнуть наружу заранее приготовленные слова.

И вот, когда голова возвращается в исходное положение, происходит извержение:

– Наверное, это проявляется в том, что я прислушиваюсь к себе, к своим воспоминаниям, к звучащим внутри меня страхам, голосам... хотя, впрочем, и не только к голосам – к болям, неизвестным ранее ощущениям, к возникающим из мелочей переживаниям, постепенно переходящим в яростное возбуждение... А еще меня начинают заботить детали, отдельные, не связанные друг с другом предметы, они пугают меня, потому что их количество растет, и от этого я свирепею, но не в общеизвестном смысле, а в смысле творческого неистовства, даже экстаза, когда необходимо весь этот вал, поток, это стихийное бедствие отразить в тексте или в рисунке. Я понятно выражаюсь?

– Вполне. – Врач встает из-за стола, подходит к подоконнику и, уже совершенно подготовившись взять чайник, чтобы наполнить его водой из раковины и поставить греться, произносит: – Мне не понятно другое, любезный Дмитрий Александрович...

– Что же?

– Какое отношение перечисленные вами события имеют к вашему творческому экстазу, как вы изволили выразиться? Ну все эти перевороты на Гаити, гонка вооружений, борьба за мир, убийства... Вижу, что они будоражат ваше воображение, но с какой точки зрения они интересуют вас – с событийной, с политической, с гуманитарной или общечеловеческой?

– Исключительно с точки зрения уходящего времени и соответствия ему слова.

– Ах вот оно что, – врач подходит к раковине, открывает кран и через носик (потому что крышка уже давно приварилась к корпусу намертво) начинает заполнять чайник водой, – сейчас выпьем чаю, если не возражаете.

– Конечно, не возражаю.

– Стало быть, если я вас правильно понял, мы имеем дело с полистилистикой ваших речевых конструкций, которые, опираясь на цитирование, стилизацию и актерствование, переосмысливают время, доводя его восприятие до абсурда, извлекают некий первосмысл, за которым ничего нет. Пустота!

– Совершенно верно, – выдыхает Дмитрий Александрович. Впрочем, надо полагать, что это не выдох облегчения, а, скорее, знак того, что он с каждой минутой все глубже и глубже вырастает в абсолютно непроходимые городские тупики, в кущи собственных переживаний и воспоминаний. Начинает блуждать в них.

– Когда вы впервые ощутили эту способность в себе?

– Могу лишь предполагать.

– Извольте, – врач втыкает штепсель в розетку и вновь возвращается к столу.

Д. А. Пригов «Начала какого-нибудь длинного повествования»: «Помню, в детстве, вступая в темный тяжко-пахучий арочный проход от освещенной улицы к нашему грязновато-кирпичному пятиэтажному дому в глубине обычного густо застроенного затененного московского двора, я всякий раз невольно оборачивался на обступавшие шорохи и отчетливые звуки преследующих шагов. Кто это?! Что это?! Естественно, все оказывалось моими же собственными торопливыми малолетними шажками, многожды отраженными сводчатыми стенами и возвращенными мне, любезно взлелеянными местной атмосферой, аурой. Возвращались разросшимися до пугающего размера и отчужденности... Все здесь пустынно и огорожено вздымающимися краями густо поросшего оврага-котлована... Народ в округе все больше пожилой – пенсионеры, инвалиды, убогие да покалеченные. Они и населяют местные некази-

стые постройки. Раньше тут неподалеку в полуразрушенном монастыре дом инвалидов располагался. Подобных полно было по всей стране после войны. Но этот, говорили, особый... Рассказывали, будто здесь из людей электричество пытались получить. Господи, да что из этих истощенных и полностью выпитых существ можно получить?! Тем более такую тонкую и мощную материю, как электричество! Дрянь какую из них – и ту не вытянешь. Правда, иногда над монастырем вспыхивало что-то, на мгновение неярко озаряя всю окрестность».

Алюминиевый чайник начинает гудеть и плеваться кипятком.

Врач встает из-за стола и подходит к окну, за которым синеватые ноябрьские сумерки уже выползли со дна теряющихся за горизонтом Сокольников и нависли над Глебовским мостом через Язу, по которому едет автобус. Здесь пассажиры прикинули к запотевшим стеклам, а черная речная вода уже схвачена по краям грязным ледяным припаем.

Поднимается пар.

От чайника поднимается пар.

Разгораются уличные фонари, плывут друг за другом в этом пару, и откуда-то со стороны Преображенки доносится вой сирен.

Дмитрий Александрович прислушивается и сразу же безошибочно признает в нем вой милицейских машин, что пробираются к фабричному общежитию на Девятой роте.

– Да, места у нас тут беспокойные, что и говорить, – врач выдергивает штепсель из розетки, но чайник еще какое-то время продолжает бурлить и плеваться кипятком. Потом все-таки затихает. Вой сирен тоже постепенно затихает.

– А у нас в Сиротском переулке, это в районе Шаболовки, как-то ограбили сберкассу и убили милиционера. Ну, конечно, понаехали люди в штатском и в милицейской форме, с собаками. Мы все вывалили на улицу, чтобы посмотреть, что будет происходить. А ничего, знаете ли, и не происходило, только собаки лаяли и бросались на толпу, вели себя как-то совсем не профессионально. И в том, что убили именно милиционера, а не вохровца какого-нибудь, кассира или обычного прохожего, было что-то таинственное, загадочное и даже страшное. – Дмитрий Александрович принимает из рук врача стакан чая и, помолчав, добавляет: – По крайней мере, нам так казалось тогда... Благодарю вас.

Врач смотрит на часы, висящие на стене, и думает о том, что его смена вот уже как полчаса закончилась, а он еще в больнице, что он уже не встретит жену на Курской и по этому поводу дома опять будет скандал.

Дмитрий Александрович смотрит на граненый стакан в подстаканнике и думает о том, что, скорее всего, у той злосчастной сберкассы, когда шло ее ограбление, милиционер оказался совершенно случайно, просто объезжал вверенный ему участок на мотоцикле «Урал» с коляской. Услышал какие-то крики, звон разбитого стекла, насторожился, заглушил двигатель, оценил обстановку, принял единственно верное решение и поймал разбойника. И это уже на следующий день он был окружен подельниками грабителя, пожелавшими свести с ним счеты. Нет, он не испугался, но достал из кобуры пистолет ТТ и сделал шаг навстречу своей смерти.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Я с ужасом, но и неким восторженным замиранием сердца ожидал, как он уложит их всех в рядок меткими выстрелами. Потом подойдет, с сожалением склонится над каждым, пощупает пульс на шейной жиле, вздохнет и отлучится, чтобы вызвать санитарную или же прямо гробовую перевозку. Однако он все медлил. Группа сдвигалась вправо... Откуда мне было знать, что в пистолете Милицанера не существовало патронов, так как предполагалось, что он должен парализовать, обезвредить любого одним своим видом, являющим всю силу, волю и величие неодолимого никакими силами государства».

А потом были его похороны на Донском кладбище – венки от сослуживцев, неутешное горе вдовы, оставшейся с двумя детьми, 6 и 10 лет соответственно, залп из самозарядных карабинов Симонова в высокое Московское небо и, наконец, траурные речи, из которых запомнилась вот эта:

Он жив, он среди нас как прежде
Тот рыцарь, коего воспел
Лиlienкрон, а после Рильке
А после – только я посмел

Вот он идет на пост свой строгий
Милицанер в своем краю
И я пою его в восторге
И лиры не передаю...

И далее:

Когда придут години бед
Стихии из глубин восстанут
И звери тайный клык достанут —
Кто ж грудею нас заслонит?

Так кто ж как не Милицанер
Забыв о собственном достатке
На возмутителей порядка
Восстанет чист и правомерн

На этих словах воспоминания о похоронах милиционера и заканчиваются, потому что более сказать о нем уже нечего.

Врач допивает чай до дна одним весьма впечатляющим глотком, словно это не чай вовсе, а дорогой армянский коньяк, затем решительно возвращается к столу, распахивает медицинскую карту, делает в ней несколько записей так называемой врачебной скорописью, более напоминающей энигматическое блуждание шариковой ручки в поле желтоватого оттенка бумаги, затем поднимает взгляд на Дмитрия Александровича и произносит:

– Давайте все-таки подведем итог нашей встрече.

– С удовольствием.

– Все это время я общался с очень интересным собеседником, которого отличает неординарный ум и совершенно уникальный взгляд на мир. Не вижу в ваших речах и поступках ничего предосудительного и имеющего отношение к нашему ведомству. Ваше нахождение здесь, безусловно, является ошибкой. Посему прошу вас немедленно покинуть больницу, а все необходимые бумаги будут выданы вам незамедлительно.

Дмитрий Александрович благодарит врача и выходит на лестницу, вдыхает здесь крепчайший запах карболки, а руки его тут же и прекращают движение, холодеют, намертво вцепившись в перила.

Так он стоит какое-то время в задумчивости.

Затем начинает спускаться на первый этаж корпуса, где направляется в регистратуру.

Тут Дмитрий Александрович слышит прелюбопытный разговор, который происходит между гардеробщицей и электриком, восходящим по лестнице-стремянке к потолку для замены перегоревшей лампочки.

– Вот скажи, Сергей Михалыч, какая вода святее – Крещенская или Богоявленская?
– Озадачила, так озадачила, – усмехается электрик и упирается руками в потолок, как в небо, совершенно уподобившись при этом сыну Иапета и Климены, брату Прометея, Эпимея и Менетия – Атланту, – думаю, что Богоявленская.

– А вот и нет, Крещенская! Это мне наш поп Сергеев сказал.

– Так и сказал? – доносится откуда-то сверху.

– Да, так и сказал – знай, раба Божия Надежда, Крещенская вода святее, потому что она называется Великая Агиасма!

– Не знал, – Сергей Михалыч держит в руках перегоревшую лампу, потом начинает ее трясти, дабы убедиться в том, что нить накаливания оторвалась от электродов. Так и есть – оторвалась и дребезжит.

– Вот видишь, не знал, а теперь будешь знать, – не унимается гардеробщица.

– А что там еще тебе твой поп Сергеев сказал? – электрик извлекает из кармана новую лампу и, ласково поглаживая ее, вставляет в патрон. Начинает аккуратно завинчивать.

– Он сказал, что Крещенскую воду надо пить натошак, а также сказал, что, обмакнув в ней марлю, можно этой марлей протирать глаза перед сном, и они никогда не будут слезиться.

– Вот оно что, – электрик вновь упирается руками в потолок, – а у меня после того, когда я подолгу смотрю на электрический свет, очень часто глаза слезятся. Мне врач прописал какие-то капли, но они не помогли.

– Делай, что я тебе говорю, и все пройдет, – звучит из недр гардероба.

Наконец, отпустив потолок, электрик приступает к спуску на землю:

– А святая вода не может протухнуть?

– Да ты что, Сергей Михалыч, совсем одурел? Нет, конечно, она ведь на то и святая.

Дмитрий Александрович меж тем уже получил все необходимые бумаги, но он не торопится уходить из больницы, потому что непременно хочет дослушать, чем закончится этот прелюбопытный разговор.

Гардеробщица подходит к выключателю и со словами «сейчас проверим твою работу» нажимает на отполированный сотнями прикосновений эбонитовый тумблер. Щелкает неоднократно, но свет не загорается.

– Не работает, – в голосе звучит недоумение и разочарование одновременно.

К тому моменту электрик уже сложил стремянку и собрался удалиться восвояси, но нет, этому свершиться не суждено.

– Черт, как же так-то? – недоумевает Сергей Михалыч. – Все ж вроде правильно сделал.

– Давай, полезай обратно и почини по-настоящему!

Электрик вновь устанавливает лестницу, делает это крайне угрюмо, и видно, что настроение его уже безнадежно испорчено.

Д. А. Пригов «Открытое письмо (к моим современникам, соратникам и ко всем моим)»: «Друзья мои, как мы неуловимо ускользаем друг от друга по натянутым в неведомых нам направлениях нитям живого времени – и это неизбежно, и это печально, и это прекрасно, так было всегда, так будет, так надо. Давайте же любить друг друга, станем же диамантами сердца друг друга, но не только сердца плоти, а сердца души, сердца духа, сердца созидания и творений духа! Давайте же писать друг про друга, сделаемся же героями произведений друг друга... Все это не должно пропасть втуне для потомков, но должно стать общим, всеобщим достоянием, высокими примерами подражания и тайного удивления».

– Проверяй! – доносится из поднебесья.

Гардеробщица вновь щелкает тумблером переключателя, вследствие чего ярко вспыхивает электрический свет, а Сергей Михалыч с криком летит вниз и падает к ногам Дмитрия Александровича.

Тут же поднимается всеобщая суматоха, в которой слышны крики медсестер, наперебой вызывающих по телефону «Скорую помощь», гул закипающего в регистратуре алюминиевого чайника, далекие голоса рабочих с «Красного богатыря» и с 37-го завода, Федосеев и единоверцев из Никольской общины, пришедших поглазеть на то, как милиционеры арестовывают хулиганов из фабричного общежития на Девятой роте, лай собак, женские вопли.

Дмитрий Александрович наклоняется к электрику и видит, что глаза его закатились и он уже полностью окоченел. Щупает пульс на шейной жиле, и становится окончательно ясно, что он мгновенно умер от удара электрическим током, и ничто уже не сможет его оживить, ни реанимация, ни потоки Божьявленской воды, изливаемой на труп Сергея Михайловича сердобольной гардеробщицей Надеждой, которая голосит во всю мощь и ширь своего неохватного тела, туго спеленатого сто раз стираным-перестиранным в хлорке белым халатом.

В окно видно, как к корпусу подъезжает карета «Скорой помощи», освещая фарами шеренгу елок, посаженных пациентами больницы.

Елки напоминают стариков, что, особенно зимой, переминаются с ноги на ногу, опираются на посохи, некоторые же курят по старой привычке, а еще вспоминают, о том, что здесь в районе Потешной и Девятой роты было до того, как их переселили в новостройки на Первомайскую. А хорошо ведь было, чего уж там говорить! Например, многие из них держали тут голубятни, потому что были уверены, что голубь есть символ Святого Духа.

Впрочем, в этой уверенности они пребывают и по сей день.

«Скорая помощь» замирает у входа в корпус, и елки тоже замирают, как рота почетного караула, а Дмитрий Александрович идет мимо этого строя, напоминающего расческу, к больничным воротам, над которыми горит прожектор.

Вспоминает, что так и не допил чай.

И это уже потом стало известно, что электромонтера Сергея Михайловича Плаксина похоронили на Черкизовском кладбище недалеко от могилы Ивана Яковлевича Корейши, проведшего в заточении в неподалеку расположенной Преображенской психиатрической больнице 44 года. Также Ивана Яковлевича в Москве знали под именем «студент хладных вод». Откуда возникло это прозвище, сказать трудно. По одной версии, его придумал сам себе Корейша, любивший подолгу смотреть в едва подвижные и мутные воды Яузы. По другой, так его стали называть за пронизательный ум и мудрые поучения, которыми он наставлял приходивших его навещать в Преображенскую больницу.

Д. А. ПРИГОВ «15 МУДРЫХ ПОУЧЕНИЙ»:

«1 Живя, живи правильно, вставай утром, работай днем, отдыхай вечером, спи ночью, или вовсе не живи.

2 Работая, работай честно, трудолюбиво, вдумчиво, люби свою работу, или вовсе не работай.

3 Женившись, женись по любви, уважай в жене человека, не гуляй на стороне, обеспечь ей и детям сносное существование, или вовсе не женись.

4 Кушая, кушай суп ложкой, второе – вилкой, пей из стакана, или вовсе не кушай.

5 Воруя, воруй со смыслом, обдумай все заранее, не зарывайся, бери нужное, думай о последствиях, или вовсе не воруй.

6 Предавая, предавай целиком, не оглядываясь, не требуя снисхождения или понимания, или вовсе не предавай.

7 Убивая, убивай сразу, до конца, не рассчитывая на случай, не надеясь на оправдание, или вовсе не убивай.

8 Выбирая, выбирай, или вовсе не выбирай.

9 Протестуя, протестуй, или вовсе не протестуй.

10 Уезжая, уезжай, или вовсе не уезжай.

11 Гуляя, гуляй, ходи, смотри по сторонам, замечай что-нибудь, размышляй о чем-нибудь своем, или вовсе не гуляй.

12 Думая, думай о причинах и следствиях, о сущности и проявлениях, об истине и лжи, или вовсе не думай.

13 Веруя, веруй полностью, не давай себе послабления, не оговаривай причин, или вовсе не веруй.

14 Умирая, умирай сам по себе, а не кому-то там в укор или на пользу, с чистой совестью и с чувством исполненного долга, или вовсе не умирай.

15 Читая эти наставления, читай их осмысленно, не цепляйся за поверхностный смысл, вникай в их тайную суть, или вовсе не читай».

Потом Дмитрий Александрович долго ехал домой в метро, коротая время за просмотром тех медицинских бумаг, которые ему вручили при выписке из больницы. Впрочем, разобрать здесь хоть что-либо было совершенно невозможно, потому как сшитые скоросшивателем листы формата А4 были мелко исписаны так называемой врачебной скорописью, исполнены энigmatического блуждания шариковой ручки.

Улыбнулся и вспомнил, как лет пять назад чуть не отравился чернильной пастой.

Тогда всю ночь провел за работой, сидя за детским столом, украшенным хохломской росписью, – штриховал пространство, точка за точкой, штрих за штрихом погружая его во мрак, ввергая в хаос, который согласно космогонии является первичным состоянием Ойкумены, бесформенной совокупностью материи и пространства, некоей бездной, из недр которой являются божества, не могущие ни видеть, ни слышать, ни говорить.

Работа продвигалась медленно, и казалось, что время остановилось, вернее сказать, полностью зависит от того, когда картина будет завершена, и лишь после этого оно (время) продолжит свое движение.

Однако до завершения было далеко.

Напряжение нарастало.

Черная дыра, изображенная на бумаге, как бы затягивала в свои недра, и попытка закончить работу была своего рода сопротивлением этому затягиванию, всасыванию в фиолетовую пустоту.

Дмитрий Александрович от напряжения кусал ручку и даже не заметил, как дошел до стержня. Понял, что произошло, лишь когда паста склеила губы и стало невозможным открыть рот, чтобы возопить от возбуждения и страха. Впрочем, тем самым полностью уподобился медиумам, которые появляются из бездны и не могут ни говорить, ни слышать, ни видеть, но источать великую электрическую энергию.

Тут же побежал к рукомойнику и принялся отмывать лицо, испытывая при этом крайнюю дурноту от терпкого химического запаха ядовитой чернильной пасты, которая вместе с водой стекала в раковину.

В ту минуту, когда почувствовал этот химический запах на запертых устах, испугался даже не смерти от бытового отравления, а того, что не сможет выкрикнуть в разверзшую перед ним пустоту заранее приготовленную мантру:

Вымерли все на «я», на «я», на «я», на «я», на «я»...

Вымерли все, вымерли, вымерли, вымерли, вымерли, вымерли...

На «я», на «я», на «я», на «я», на «я», на «я», на «я»...
Все, все, все, все, все, все, все...
Вымерли, вымерли, вымерли, вымерли, вымерли...
Все вымерли, вымерли...
Я
Я один остался
Один-одинешенек.

Из книги Д. А. Пригова «Живите в Москве»: «Однажды, оставшись один в классе, я долго искоса поглядывал на чернильницу, укрепленную в специально для нее образованном отверстии в парте. Незаметно для самого себя я каким-то неведомым способом, даже не передвигая ног, словно подплывая, вернее придвигаемый самим сдвигавшимся в том направлении пространством, стал приближаться к ней. В неменяемом состоянии плавным движением правой руки я вынул чернильницу из ее логова и опрокинул в себя... Я взвыл и стал биться об пол, выблевывая из себя отвратительную лиловую жидкость... Какими-то рывками меня вынесли в коридор, понесли на спине вдоль него, по лестнице вниз, на нижний этаж, в вестибюль уже опустевшей школы... Из меня лезла кровавая пена и густая желчь, неравномерно раскрашенные лиловыми разводами... С тех пор один взгляд на чернила, даже воспоминания о них моментально передергивают меня».

2007 год

Дмитрий Александрович подходит к рукомойнику, снимает рубашку и начинает умываться до пояса холодной водой, от которой вздрагивают мышцы спины и живота.

Рукомойник находится на первом этаже Дома студента на Вернадского, более известного как ДСВ.

60-ваттная лампа накаливания отражается в зеркале, вмурованном в стену над раковиной, а под потолком ветвятся провода, намотанные на керамические пробки изоляции.

Дмитрий Александрович щедро орошает лицо, шею, грудь, набирает в ладони ледяную воду и через плечо выплескивает ее на спину, результатом чего становится возникновение на кафельном полу внушительных размеров лужи. Затем тщательно вытирается белым вафельным полотенцем.

Общежитие МГУ на Вернадского имеет дурную славу. В 80-х почему-то именно здесь путем выхода из окон сводили счеты с жизнью студенты-гуманитарии. Неразделенная любовь, алкогольный угар, экзистенциальный кризис, политические мотивы.

Второкурсник филологического факультета из КНДР Куанг Пак выбросился из окна, когда обнаружил, что потерял значок с изображением Ким Ир Сена, который все северокорейские студенты были обязаны носить на лацкане форменного пиджака темно-синего цвета.

Пятикурсница философского факультета Ирина К. выбросилась с лестничной площадки ДСВ, узнав, что человек, которого она любит, изменил ей с ее же подругой.

Первокурсник исторического факультета Андрей В. покончил с собой после несданной зимней сессии, выйдя с 16-го этажа общежития, поняв, что то, чем он занимается на факультете, ему чуждо и отвратительно.

Студент четвертого курса филологического факультета Константин П. выпал из окна ДСВ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Студентка четвертого курса филологического факультета Екатерина А. выбросилась из окна после несданного во время летней сессии экзамена.

Дмитрий Александрович надевает белую рубашку с длинными рукавами и выходит в вестибюль общежития, где его уже ждут несколько человек, а также здесь возвышается специально для того принесенный огромный бельевой шкаф старого советского образца – двухстворчатый, украшенный аляповатой резьбой и совершенно неподъемный.

Все окна и двери в вестибюле открыты, потому что на улице стоит невыносимый зной, однако проветрить это гигантское бетонное пространство нет никакой возможности, и в помещении все равно весьма жарко.

Д. А. Пригов «Начало какого-нибудь длинного повествования»: «Жара стояла удивительная. Премного удивительная. Вообще, леты здесь отменные. Знойные. Не мне вам рассказывать. Бывало, идешь плавно извивающейся ложбиной, натуральным, почти тропическим способом заросшей аж по самые брови, до верхнего просвета, исчезающего где-то там, в пропадающих высотах. А оттуда льется нестерпимый зной. Жара. Пекло. Господи, вынести бы!»

Далее события разворачиваются следующим образом.

Дмитрий Александрович громко сообщает собравшимся, что сейчас начнется его вознесение в шкаф на 22-й этаж «Дома студента», во время которого он, останавливаясь на каждом этаже, будет читать свои стихи, постепенно возвышая свой голос над Москвой. Для той надобности он будет открывать дверцы шкафа и вторить собственному голосу, который будет звучать из многочисленных динамиков, расставленных по всей общаге.

На недоуменные вопросы собравшихся, что означает этот таинственный перформанс, отсылающий его участников и зрителей к Вознесению Господню, Дмитрий Александрович улыбается и поясняет, что таким образом он, будучи запертым в шкафу – символе узилища страстей, будет соотносить свой поэтический голос с потусторонним сакральным голосом, звучащим повсюду. Восходя все выше и выше по лестнице, которая еще со времен Древней Церкви была воплощением стремления к гармонии и духовному совершенству, он будет неустанно размышлять об общажном быте, который является общим уделом с первых минут нашего бытования в Москве.

Постепенно лестничные марши с их традиционным запахом пива и мочи, дешевого курева и мусоропровода преобразятся в открытое всем ветрам пространство крыши ДСВ, откуда можно будет взглянуть на сияющий и прекрасный мир, увидеть его электрические огни и вздохнуть полной грудью.

После этого пояснения Дмитрий Александрович входит в шкаф и закрывает за собой его дверцы, а четыре молодых человека мощного телосложения при помощи специальных ремней поднимают шкаф и начинают его вознесение по лестнице на 22-й этаж «Дома студента» на Вернадского.

Из динамиков разносится знаменитое:

Уж лучше и совсем не жить в Москве
Но просто знать, что где-то существует
Окружена высокими стенами
Высокими и дальними мечтами
И взглядами на весь окрестный мир
Которые летят и подтверждают
Наличие свое и утверждают
Наличие свое и порождают
Наличие свое в готовом сердце —
Вот это вот и значит – жить в Москве.

В шкафу темно и жарко.

Шкаф покачивается на руках носильщиков, как на волнах.

Здесь и сейчас самое время задуматься над тем, что делаешь тут, между землей и небом, будучи оторванным от тверди, но еще не достигнув горних небесных селений.

Дмитрий Александрович сам отвечает на собственный вопрос так: «Образ сидящего в шкафу, в скорлупе, в футляре, в шинели давно известен. Некий укрытый, ушедший из мира сего человек подвала и андеграунда, тайного подвижничества – укрытый от внешних взглядов труд души и духа. Как тот же Святой Иероним в пещере, куда, наконец, проглядывает возносящий его к небесам луч высшего произволения.

Так же, наконец, дождался и своего часа вознесения на 22-й этаж человек в шкафу за все свои страдания, муки, потерпленные от мира, как награда за необъявленные духовные подвиги.

Соответственно, поручить это вознесение высшие силы не могли простым работникам подъема и перемещения простых физических и плотских тяжестей на разные высоты и расстояния. Для них это был бы рутинный нефиксированный скудно или щедро оплачиваемый физический труд. Нет, высшим силам на то потребны непрофессиональные руки тех, для кого это, в свою очередь, стало бы подвигом и трудом не мышц, но души и духа».

Святой Иероним в пещере.

Святой Иона во чреве кита.

Святой Маркелл в выгребной яме.

Святой Гермоген в темнице.

Святой Симеон на столпе.

Святой Климент в изгнании.

Святой Кирилл в пещере.

Акакий Акакиевич в шинели.

А Беликов в футляре.

Потусторонний сакральный голос входит в шкаф, в котором сидит Дмитрий Александрович, заполняет лестничные марши, перекатывается эхом по коридорам общежития.

Сейчас в ДСВ почти пусто, потому что его обитатели разъехались по домам или на практику, а абитуриентов в основном селят в Главном здании на Ленгорах. Стало быть, по коридорам общаги на Вернадского бродят редкие представители студенческого сообщества.

На пятом этаже процессия останавливается в очередной раз, чтобы Дмитрий Александрович мог вместе со своим голосом прочитать «Вирши на каждый день»:

Когда я размышляю о поэзии, как ей дальше быть
То понимаю, что мои современники должны меня
Больше, чем Пушкина, любить
Я пишу о том, что с ними происходит, или происходило,
или произойдет – им каждый факт знаком
И говорю им это понятным нашим языком
А если они все-таки любят Пушкина больше, чем меня,
так это потому, что добрый и честный: не поношу его,
не посягаю на его стихи, его славу, его честь
Да и как же я могу поносить все это, когда я тот самый
Пушкин и есть

На лестничном марше между пятым и шестым этажами стоит молодой человек, весьма своим внешним видом напоминающий Александра Сергеевича, и курит трубку.

Однако в этой весьма неожиданной и оригинальной визуальной интерпретации своих поэтических слов Дмитрий Александрович усматривает какую-то концептуальную ошибку, какое-то ключевое несовпадение. Разумеется, усматривает в щель, возникшую в результате открывания створок шкафа.

Сам себе задает вопрос: «Что тут является лишним? Пушкин на лестничной площадке? Шкаф как образ Кувуклии или ковчега со свитком Завета? 22-этажная бетонная общага или, наконец, трубка в руках «солнца русской поэзии»?»

Конечно, трубка!

Разумеется, трубка!

Потому что трубка допустима лишь в руках Даниила Ивановича Ювачева, более известного как Даниил Хармс, Константина Федина, Константина Симонова, наконец, в руках Сартра или Жоржа Сименона, а в руках Александра Сергеевича дозволительны лишь тяжелая трость или дуэльный пистолет.

Молодой человек с внешностью Пушкина – темные курчавые волосы, длинные бакенбарды, эфиопский профиль, пронзительный взгляд и неопрятные длинные ногти – оказывается студентом четвертого курса филологического факультета и пишет диплом по Хармсу – «Литературный дискурс и метаязыковая игра “пушкиниста” Даниила Хармса».

В тот момент, когда мимо студента хармсоведа проплывает шкаф, на что он реагирует, надо заметить, совершенно спокойно, в его голове крутятся следующие строки из Даниила Ивановича, над которыми он много размышляет в последнее время:

Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому,

кто ничего о нем не знает.
Пушкин великий поэт.
Наполеон менее велик, чем Пушкин.
И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто.
И Александр I, и II, и III – просто пузыри
по сравнению с Пушкиным.
Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри,
только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.
А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине,
я лучше напишу вам о Гоголе.
Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя,
поэтому я буду все-таки писать о Пушкине.
Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно.
А о Гоголе писать нельзя.
Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу.

«Крепкий табачок у студента», – думает Дмитрий Александрович.

«Крепкие ребята, что несут шкаф», – думает курящий этот крепкий табак студент.

«Надо крепко держать ремни, чтобы не уронить шкаф вместе с Дмитрием Александровичем», – думают четыре молодых человека мощного телосложения.

Мысли каждого из участников этой сцены на лестнице между пятым и шестым этажами материализуются в разряды электрического тока, сполохи, даже молнии, озаряющие бледное лицо студиозуса, похожего на Пушкина, вспотевшие лица носильщиков и одухотворенное лицо Дмитрия Александровича Пригова.

Однако расположенные через этаж пожарные краны делают эту затею совершенно безопасной.

Однажды в детстве, когда они жили в коммуналке на Спиридоновке, Дмитрий Александрович стал свидетелем пожара. Горела квартира на пятом этаже в жилом доме треста «Теплобетон». Все знали, что тут живут известные советские ученые – физики, химики, палеонтологи, зоологи, математики. И вот в одной из квартир такого ученого случился пожар. Скорее всего, прислуга недоглядела за керосинкой или керогазом на кухне или ученый, увлекшийся написанием химических формул, забылся совершенно и не обратил внимание на то, что непотушенная папироса упала на ковер и прожгла его.

Одним словом, тогда квартира выгорела полностью. Собравшиеся на улице зеваки наблюдали за тем, как пожарные по раздвижной лестнице поднялись к пылающим окнам, тушили пламя, а затем вошли внутрь и извлекли чей-то обгоревший труп, который тут же в сопровождении милиции увезла машина «Скорой помощи».

Впоследствии, всякий раз проходя мимо этого дома, расположенного на углу Спиридоновки и Спиридоньевского переулка, Дмитрий Александрович невольно поглядывал вверх, на окна пятого этажа, словно ждал, что оттуда выглянет обгоревший мертвец, которого по какой-то причине после пожара оставили на пепелище (то есть одного вынесли, а другого почему-то оставили), и он пролежал здесь многие годы, забытый всеми и превратившийся в конце концов в медиума.

Д. А. Пригов «Маленький дополнительный кусочек»: «Речь шла там о каких-то неведомых и непереносимых для человека страшных существах. Собственно, размера они были невеликого и вида неужасающего, как можно было бы себе, по привычке, представить. Так вспоминается. И вспоминается с моментальным содроганием спинной кожи вдоль всего позвоночника, стремительно промерзающего каждым своим отдельным костистым позвонком.

Как бывает при быстром оглядывании темной ночью за спину на звуки показавшихся шагов. Оглядываешься – никого. Отворачиваешься – опять шаги. Оборачиваешься – снова никого. Хоть погибай!»

Однако если на улице ночью бывает страшно, особенно это было актуально в послевоенной Москве – шпана, вооруженные грабители, сумасшедшие, то в шкафу, наоборот, тихо, уютно и безопасно. Вполне можно вообразить себя находящимся в утробе, покидаешь которую лишь на установленном этаже и в установленном порядке, ощущая прилив сил от осознания того, что твои стихи звучат все выше и выше над городом, что вознесены они сюда не грубой силой мышц, но трудом души и духа.

В конечном итоге это и есть «тотальное искусство» или «тотальное произведение искусства», когда творческая акция рождается из кропотливого, на первый взгляд бессмысленного труда, порой вызывающего у окружающих недоумение и раздражение. Причем речь идет именно о труде, о том, что во французском языке обозначается словом *labeur* (тяжелый труд), пускай даже и маниакальный порой. Дойти до сути любой вещи, будь то словесная конструкция, орудие труда, консервная банка, телеграфный столб или подшивка старых газет, разложить ее на атомы, на ломоносовские корпускулы, препарировать с умением, усердием и вниманием, четко запоминая последовательность поступков и движений, чтобы после смочь повторить их в обратной последовательности.

Итак, 11-й этаж – половина пути наверх!

Но именно тут до Дмитрия Александровича и участников его вознесения доходят неутешительные вести – в деканате МГУ узнали о творящемся в ДСВ безобразии и требует немедленно прекратить перформанс, а для урегулирования сего вопиющего недоразумения направлен наряд милиции.

Вполне естественно, что во время данной остановки Дмитрий Александрович выходит из шкафа и читает из «Апофеоза Милицанера»:

Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милицанер
С Востока виден Милицанер
И с Юга виден Милицанер
И с моря виден Милицанер
И с неба виден Милицанер
И с-под земли...
Да он и не скрывается

После завершения чтения под многоголосье, разносимое динамиками по всему «Дому студента» на Вернадского, Дмитрий Александрович вновь входит в шкаф и закрывает за собой дверцы.

А ведь действительно, запахи пива и мочи, дешевого курева и мусоропровода, кухни и нестираного белья испарились куда-то совершенно, и им на смену пришли благовония горной лаванды и ладана, камфары и сандала.

Вот и в шкафу теперь дышится легко и свободно, как после дождя, а изнурительная жара отступила, и это можно счесть за чудо, за которым, как елки в больнице Ганнушкина на Потеш-

ной улице, стоят смертельная усталость, отчаяние, онемение мышц, полнейшее отупение и бесконечная, никогда не прекращающаяся головная боль от напряженной работы.

О чуде надо просить, его надо ждать, его надо заслужить, и тогда оно исполнится.

В «Родине электричества» Андрей Платонов так описывает этот жар ожидания: «Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к дороге. Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадиллом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые, заплаканные женщины. Двое детей – мальчик и девочка, – в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали. Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись. Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала Деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над нею, а богомольные женщины расселись в тени и занялись там своим делом.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам – потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня – они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвления и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, – это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью Бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия».

В 2005 году во время перформанса «Сизиф» Дмитрий Александрович переливал воду из таза в кружки и обратно, как бы призывая тем самым воду и наглядно показывая, что, по словам Екклесиаста, «все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».

Так и сейчас призывание 22-го этажа является попыткой доказать, что всякое даже самое дерзкое восхождение неизбежно влечет за собой низвержение и погружение, за которыми последуют новые вознесения, и не будет этому предела до скончания века.

Следовательно, художник, хотя Дмитрий Александрович всегда предпочитал себя называть «работник культуры», должен с радостью и благодарностью принимать удары судьбы, они же – падения, не унывать и не помышлять о смерти.

На лестничной площадке 18-го этажа у открытого окна на подоконнике сидит девушка и смотрит на город. Взгляд ее неподвижен и не предвещает ничего хорошего. Рядом с ней на подоконнике лежит томик стихов Иосифа Бродского.

Поймав на себе настороженный взгляд носильщиков и Дмитрия Александровича, который для той надобности специально приоткрыл створки шкафа, девушка устало улыбается и говорит, что выходить в окно она совершенно не намерена, что она грустна потому, что прочитала стихотворение Бродского «По дороге на Скирос», и кончать жизнь самоубийством у нее нет никакого желания, хотя бы потому что в Петрозаводске, откуда она родом, ее ждут роди-

тели, а на пятом курсе философского факультета (сама она психолог) учится ее друг, с которым они познакомились в университетском лагере «Буревестник» под Туапсе и с которым у нее отношения. Да, она наслышана о дурной славе ДСВ, но это уже в прошлом, сейчас все уже совсем не так, и подобные способы свести счеты с собственной жизнью считаются архаичными и неэстетичными.

Пребывая в шкафу, который шаг за шагом, ступень за ступенью этаж за этажом поднимается вверх, Дмитрий Александрович размышляет об эстетическом. Еще будучи студентом Строгановки, он с увлечением посещал спецкурс «“Лекции по эстетике” Гегеля», находя мысль о религиозности искусства и творческих первоосновах религии весьма интересной и продуктивной. По мысли философа, искусство является одной из ключевых степеней самопознания человека в формате его отношения к окружающему миру. Чувственное реализует себя в виде художественного прекрасного, следовательно, абсолютный дух объективирует себя в искусстве чувственного обозримым способом – в формах прекрасного, постоянно пребывая на пути динамического совершенства. Иначе говоря, процесс саморазвития духа в формах искусства являет собой объективный исторический процесс становления самопознания, а также имеет поступательный и восходящий характер.

Девушка-психолог спрыгивает с подоконника на бетонный пол, однако неудачно при этом задевает рукой книгу, и томик со стихами Иосифа Александровича Бродского выпадает в окно – тут же начинает кувыркаться в воздухе, размахивать страницами, как не приспособленная к полету птица отряда пингвинообразных, проносится мимо балконов, на которых сушится нижнее белье, мимо открытых в целях проветривания окон, иногда обретает восходящие потоки горячего воздуха и тут же теряет их, минует бетонный, напоминающий палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» козырек над входом в ДСВ и падает к ногам прибывшего на место происшествия наряда милиции.

Лейтенант поднимает с асфальта книгу, смотрит вверх, откуда она прилетела, затем перелистывает несколько весьма потрепавшихся за время полета страниц и читает следующее:

Я всегда твердил, что судьба – игра.
Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.
Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако – сильно.

Милиционер еще какое-то время крутит в руках эти непонятные, на неведомом ему языке написанные вирши, потом кладет книгу на скамейку, потому что бросить ее в урну для мусора ему не позволяют средняя школа в городе Реутов и МУ МВД им. Владимира Яковлевича Кикотя, что расположен на улице Академика Волгина, и наряд входит в ДСВ.

К этому времени Дмитрий Александрович уже находится на 22-м этаже.

На этой головокружительной высоте шкаф напоминает космический корабль, который через считанные мгновения должен быть выведен на орбиту.

Милиционер нажимает кнопку вызова лифта, ждет, нажимает кнопку еще раз и приходит к пониманию того, что лифт не работает, потому что электрический мотор, находящийся в недрах шахты, обесточен.

Звучит команда:

– На 22-й этаж по лестнице бегом марш!

Наряд распахивает выкрашенную в зеленый цвет дверь на лестничную площадку и оказывается у подножия уходящей к небу бетонной пирамиды, на вершине которой можно разглядеть фигуру Дмитрия Александровича, облаченную в белую рубаху с длинными рукавами.

Д. А. Пригов: «Середина какого-либо повествования, недалеко от начала какого-либо рассказа»: «Места здесь пустынные, нелюдимые. Страшноватые даже. Несколько темно-сизых рубленых изб, веками переходящих от поколения к поколению, ныне заселенных исключительно древними стариками. Трудно поверить, но нет основания и не верить тому, что они про себя, да про все окружающее сказывают. Помнят Великий скандинавский метеорит. А тому уж лет 250 как. Может, и поболе. Так ведь никто записей и не вел, и не ведет. Всякие же углеродные анализы, как мы видим, весьма и весьма недостоверны. Можно, конечно, иронизировать, но они помнят. Неоспоримые приметы и детали приводят, которые не придумаешь. Все до мелочей сходится – направление и время, и размеры, и разброс осколков. И сопутствующее свечение. Звук и голоса. И гигантские знаки, пересекавшие все небо сначала с востока на запад, а потом с севера на юг».

Расположенное на юго-западе Москвы здание ДАС оказывается вовсе и не общежитием обычным, а местом телепортации, схождения различных пространств и энергий. Дмитрий Александрович выходит здесь на крышу, надевает на спину специально приготовленные загодя огромные белые крылья, точно такие, какими их в своем «Благовещении» изобразил Боттичелли, встает рядом с изрядно проржавевшей металлической оградой и читает, обращаясь к раскинувшемуся у его ног городу:

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

И сразу после этих слов Москва загорается бесчисленным количеством огней, которые переливаются в вечернем июльском мареве, оживает лифт, в коридорах общежития вспыхивают лампы дневного света, а у дежурного в вестибюле на первом этаже включается телевизор, по которому сообщают, что на сессии МОК в Гватемале Сочи был выбран местом проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года.

Послесловие

5 июля 2007 года деканат МГУ отказал Дмитрию Александровичу Пригову в проведении перформанса «Вознесение» в «Доме студента» МГУ на проспекте Вернадского.

Представленное выше описание перформанса есть предположение, вариант того, каким его в своем воображении рисовал Дмитрий Александрович или кто-либо из его участников и случайных свидетелей.

«В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее – исключительно для собственного удовольствия».

Андрей Платонов

Текстология

Москвядва

Д. А. Пригов «Малопонятный отрывок из того же самого повествования»: «Ну, да, да, печален наш город в этот смутный слабый момент суток. Краткий промежуток времени, когда угасающие лучи остатного света растворяются в подступающей и обступающей темноте... Еще ведь не поднося часы к самым глазам, видишь – где-то ровно около двадцати часов по московскому времени. Достаточно, достаточно времени предпринять что-то кардинальное».

...например, навестить известных русских писателей и поэтов, которые жили в Москве в XIX—XX веках, причем совершить подобного рода перформанс об эту предзакатную пору, которую в своем «Упыре» Алексей Константинович Толстой описал следующим образом: «Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков».

Миновав проходные дворы Арбатской части, Дмитрий Александрович выходит на Малую Молчановку и оказывается перед одноэтажным деревянным особняком с мезонином, что зажат между двумя доходными домами. Здесь с 1829 по 1832 год жил юный Миша Лермонтов у своей рачительной и строгой бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, о которой историк литературы Павел Александрович Висковатов говорил: «По рассказам знавших ее в преклонных летах, Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с нею сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказать, что считала справедливым... Строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи».

Разумеется, фамусовская Москва вызывает ропот, но и в то же время безграничное понимание невозможности перечить, потому как это почитается за бунт, а бунтовщикам, как известно, место на виселице.

Например, на виселице, установленной в июле 1826 года на кронверке Петропавловской крепости.

15-летний Миша Лермонтов выходит во двор дома, который снимает его бабушка, и садится на скамейку.

Елизавета Алексеевна подходит к окну и смотрит, чем занимается ее внук – сейчас он просто сидит на скамейке и болтает ногами.

Дмитрий Александрович тоже сидит на скамейке во дворе дома на Малой Молчановке и внутренне рассуждает о том, что совершенно невозможно понять, каким образом эти славные детишки с румяными щеками, эти трогательные, нежные и невинные существа, которые прижимают к груди плюшевого мишку или поросеночка какого-нибудь, со временем превращаются в сатрапов, извращенцев, злодеев и лютых убийц. Не все конечно, но многие.

Рассуждения эти, по мысли Дмитрия Александровича, носят весьма банальный характер, но все же они имеют право на существование:

Разве зверь со зверем дружит —
Он его спокойно ест
Почему же эти люди
Меж собой должны дружить

А потому что они люди
Бог им это завещал
Ну конечно, коли нету
Бога – так и можно есть

И еще одно рассуждение на эту тему:

Жил на свете изувер
Вещал, жог он и пытал
А как только старым стал
Жжет его теперь позор

А чего позор-то жжет? —
Ведь прожил он не бесцельно
Цель-то ясная видна
Значит тут нужна поправка:
жизнь дается человеку один раз и надо
прожить ее так, чтобы не жег позор за
годы, прожитые с позорной целью

Можно лишь предположить, что чего-то они недополучили, чего-то им было недодадено, или, напротив, они получили слишком много и не смогли справиться со всем богатством и разнообразием даров. Кардинальные добродетели – благоразумие, справедливость, умеренность и мужество – воспринимали за нечто само собой разумеющееся, даже и не предполагали при этом, что существуют их антиподы – глупость, ложь, невоздержанность и трусость. Заблуждались, совершали непростительные поступки, пребывая при этом в полной уверенности в своей правоте.

Когда Миша понимает, что бабушка перестала следить за ним из окна (чувствует это каким-то немислимым образом, интуиция-интуиция), он встает со скамейки, делает несколько отвлекающих кругов по двору, затем подходит к старой липе, растущей в глубине сада, и извлекает из тайника, устроенного в дупле древнего дерева, нож, подаренный ему конюхом Василием Бажановым, который принимал участие в Бородине и битве при Малоярославце.

Дарил и рассказывал маленькому Михаилу Юрьевичу, как ходил на француза в штыковую, как потом сидел весь забрызганный кровью, едва живой, спал на земле.

Миша смотрит на нож и воображает себе:

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал
Наследье бранного востока.
Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну порвал кольчугу.

Перекладывает нож из руки в руку:

Но скучен нам простой и гордый твой язык,

Нас тешат блески и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Почему-то всегда, еще со школьных лет, Дмитрий Александрович был уверен в том, что Лермонтов победил Пушкина.

Не в смысле кулачного единоборства или стрельбы на пистолетах, разумеется (и тот и другой были, как известно, убиты на дуэли Жоржем Шарлем Дантесом и Николаем Соломоновичем Мартыновым соответственно), но в смысле поэтического противостояния, когда 37-летний Александр Сергеевич и 26-летний Михаил Юрьевич сходились посреди Арбата, в районе Николы на Песках, и декламировали друг другу свои стихи.

С одной стороны, Александра Сергеевича хотелось защитить от молодого корнета лейб-гвардии Гусарского полка, а с другой – примирить их.

Может быть, именно с этой целью Дмитрий Александрович и написал своего «Евгения Онегина Пушкина», чтобы это примирение произошло хотя бы внутри текста. Для той надобности все пушкинские прилагательные он поменял на классические лермонтовские «безумный» и «неземной», и известный всем со школьной скамьи текст получил совсем иное звучание:

Его безумным появленьем
Безумной нежностью очей
Безумным с Ольгой поведеньем
Во всей безумности своей
Она безумная не может
Безумная понять, тревожит
Ее безумная тоска
Словно безумная рука
Безумно сердце жмет, как бездна
Безумная под ней шумит
Безумно Таня говорит
Безумье для него любезно
Безумие! Зачем роптать!
Безумие он может дать!

И далее:

Стихи безумны сохранились,
Так вот безумные они:
Куда безумны удалились
Безумные златые дни...
Что день безумный мне готовит?
Его мой взор безумный ловит.
В безумной мгле таится он,
Безумно прав судьбы закон:
Паду ль безумный я пронзенный,

Или безумная она
Минует...

После завершения воображаемой поэтической дуэли Александр Сергеевич и Михаил Юрьевич расходились с миром.

Лермонтов возвращался на Молчановку.

Пушкин же шел в дом Хитрово, где его за рукодельем поджидала жена – Наталья Николаевна Гончарова.

Дмитрий Александрович стоит перед этим старинным арбатским особняком и размышляет о том, сколь все-таки верно он написал о поэте в своем сочинении «Игра в чины»: «Александр Сергеевич Пушкин является гордостью русской и мировой литературы. В его произведениях нашли отражение мечты и чаяния русского народа. В своих произведениях он резко критиковал мерзости современного ему строя. Имя Пушкина будет вечно жить в сердцах благородного человечества».

За протокольным слогом, разумеется, скрываются неистовства и беснования, великие поэтические прозрения в Болдино и кутежи в Петербурге.

Романтическое безумие как причина или результат рефлексий, внутренних переживаний и самокопаний в стиле Федора Михайловича, которого Дмитрий Александрович навещает след за Пушкиным.

Подъезжает на трамвае к Мариинской больнице для бедных Московского воспитательного дома, что на Новой Божedomке (ул. Достоевского, 2), где в казенной квартире лекаря означенного выше лечебного учреждения и родился Федя.

Дмитрий Александрович подходит к оgrade, за которой в закатном полумраке возвышается изваяние извиняющегося, как бы заглядывающего за угол Федора Михайловича работы лауреата двух Сталинских премий скульптора Сергея Меркурова.

Тут Достоевский словно вымучивает ответ на вопрос, как возможно такое, чтобы милого карапуза Федю, некогда прижимавшего к груди плюшевую игрушку, это румяное, ангелоподобное существо спустя годы привяжут к столбу на Семеновском плацу и зачитают приговор о «смертной казни расстрелянием», который, впрочем, в последний момент заменят наказанием в виде каторжных работ.

Вопрос как приглашение к рассуждению о том, что же происходит в жизни на самом деле и какое это имеет отношение к мечтаниям и авторскому вымыслу.

Когда ты скажем знаменит —
Быть знаменитым некрасиво
Но ежели ты не знаменит
То знаменитым быть не только
Желательно, но и красиво
Ведь красота – не результат
Твоей возможной знаменитости
Но знаменитость результат
Есть красота, а красота спасет!
А знаменитым быть, конечно, некрасиво
Когда уж ты знаменит

Дмитрий Александрович вполне допускает, что тогда, во время казни петрашевцев, Достоевского могли и не помиловать вовсе, но расстрелять, как подобало поступать с «важнейшими преступниками» (Федор Михайлович был отнесен к их числу). Стало быть, так и остался бы он в русской литературе подающим надежды автором «Бедных людей», «Господина Про-

харчина» и «Белых ночей», которого неистовый Виссарион Григорьевич называл «новым Гоголем». Потом бы его труп отвязали от столба и закопали бы тут же на Семеновском плацу в наскоро вырытой солдатами яме. И русская литература, вернее сказать, ее психологическое направление, пошла бы по пути, предначертанному еще Лермонтовым в «Герое нашего времени» и доведенному до абсолюта Андреем Платоновым в «Котловане», например.

С грохотом по улице Достоевского проезжает трамвай, добавляя и без того сюрреалистической атмосфере полупустого вечернего города настроение какой-то раздерганности, взнервленности, какого-то нездорового напряжения. Больничная атмосфера.

А еще и больничные запахи. Скорее всего, именно они наложили на юного Федю определенный отпечаток. Он сизмальства как-то с ними сроднился, посему испытывал к узаконенной несвободе нездоровья некое особенное искательство, даже любовь, любил болеть и хранить свой недуг внутри себя, оберегал его, а речи свои в этой связи находил длинными, входящими внутрь головы слушающего и, более того, предполагающими полное им подчинение и соперничество.

Описывал устами князя Льва Николаевича Мышкина собственную судьбу: «Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поторопей застрелили».

Дмитрий Александрович смотрит на памятник работы скульптора Меркурова и говорит в запальчивости:

– Но ведь не застрелили же, а отправили в Семипалатинск, где он познакомился с молодым этнографом и путешественником Чоканом Валихановым, чем-то напоминавшим ему Лермонтова. Однако к Пушкину, которого напоминал разве что молодой Айвазовский, имел много большее искательство.

Вот Достоевский Пушкина признал:
Лети, мол, пташка, в наш-ка окоем
А дальше я скажу, что делать
Чтоб веселей на каторгу вдвоем

А Пушкин говорит: Уйди, проклятый!
Поэт свободен! Сраму он неймет!
Что ему ваши нудные мученья!
Его Господь где хочет – там пасет!

И вновь Александра Сергеевича, эмоционально восклицающего – «уйди, проклятый!», необходимо защитить от этих нудных мучений, нудных поучений и нравоучений, нудных описаний, нудных семейных историй, долгов и систематического безденежья.

Но как? Вот в чем вопрос, на который Дмитрий Александрович дает следующий ответ:

Внимательно коль приглядеться сегодня
Увидишь, что Пушкин, который певец
Пожалуй скорее что бог плодородья

И стад охранитель, и народа отец

Во всех деревнях, уголках бы ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его
А вот бы стихи я его уничтожил —
Ведь образ они принижают его

И наконец уже в полной темноте оказывается на Старой Басманной рядом с домом № 23. Словно бы обращаясь к группе экскурсантов, Дмитрий Александрович сообщает:

– Перед нами родовое гнездо легендарного семейства Муравьевых-Апостолов, судьба младших членов которого, блестящих офицеров, героев войны 1812 года, весьма печальна, даже трагична, что, впрочем, не исключительно для наших российских обстоятельств. Хозяин дома – Иван Муравьев-Апостол, влиятельный сановник, дипломат, литератор. Его сыновья – Матвей Иванович – 20 лет каторги, Сергей Иванович – один из пяти знаменитых повешенных. Не знаю, блуждают ли по этому дому их неупокоенные тени, но образ их навеки запечатлен в великой и неоднозначной истории Государства Российского.

Однако речь о виселице, установленной на кронверке Петропавловской крепости, уже шла. Тогда, в 1826 году, суд великодушно, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием в сем деле явленным смягчением казней и наказаний прочим преступникам определенным», заменил четвертование на повешение.

Из интервью Д. А. Пригова от 2006 года: «В России в отличие от Запада одни времена не отменяют другие, они существуют как слоеный пирог. Можно жить во времени Пушкина – в нем живет огромное количество людей, можно жить во времени Блока или футуристов. Сейчас нарастает еще одно время, следующее за мной, для которого я уже фигура времени прошедшего. Но для 99% тех, кто живет в разных исторических временах, я живу в еще не существующем времени».

Затем, слово бы опережая просьбы воображаемых участников экскурсии по литературной Москве рассказать о том, где проживает сам ведущий этого ночного путешествия, Дмитрий Александрович повествует о том, что «в доме № 25, корпус 2, по улице Академика Волгина, в шестом подъезде, на седьмом этаже, в зеленом и самоотдельном районе Беяево, причем в этой своей самоотдельности могущем даже быть названным герцогством Беяево, сорок лет, в наш необыкновенно мобильный век, ровно сорок лет» он и проживает.

Д. А. Пригов «Почти главная часть какого-либо повествования»: «Они сидели в обычной городской квартире. Темнело. Света пока не зажигали. В почти придвинутом к ним вплотную таком же противоположном неразличимом девятиэтажном крупноблочном доме на том же отмеченном седьмом этаже, как раз напротив, горело прямоугольное кухонное окно. По летней душноватой погоде оно было запахнуто. Виднелся чей-то громадный торс. Приглядевшись, можно было различить безразмерную бабу, свирепо орудовавшую у плиты. До скрупулезных подробностей. До рези в глазах. Кухня освещалась желтоватым равномерным светом голой, подвешенной под самым потолком семидесятипятисвечевой лампы».

В Беяево из центра перебрались в 1965 году.

Три панельных девятиэтажных дома, вокруг которых на километры простирались бескрайние поля, напоминали стоящие на рейде пассажирские лайнеры. Особенно этот эффект усиливался при контрастном предзакатном освещении, когда блики проваливающегося за горизонт светила играли в окнах, находили свое отражение в высокой, почти доходящей до пояса траве, которая двигалась под действием ветра волнообразно.

Дмитрий Александрович любил прогуливаться по этой местности, встречая селян из сохранившихся в окрестности деревень, пасущих скотину или мирно выпивающих на лоне природы.

Бывали случаи, когда парнокопытные разбрелись по округе и даже захаживали в подъезды домов, где могли запросто задремать, облокотившись на металлические лестничные перила или примостившись под почтовыми ящиками. Выгонять их приходилось при помощи наряда милиции, который приезжал на традиционной «буханке». Если одни милиционеры выводили загулявших коров и овец на улицу, то другие выдвигались на поиски упившихся до беспамятства и спящих в высокой полевой траве пастухов. Делали это неспешно, с расстановкой, придерживая фуражки вопреки сильному встречному ветру.

Дмитрий Александрович наблюдал за происходящим, стоя на балконе.

Отсюда, с высоты седьмого этажа, ему все было видно очень хорошо.

Куликово

1. И тогда он неспешно выехал на середину поля. Из первых рядов тут же раздались свист и крики, разобрать смысл которых было невозможно. Багатур Челубей криво усмехнулся, затем медленно повернулся в седле в сторону свистевших, снял шлем, широко раскрыл рот, показав всем свои кривые, сточенные, как у старой собаки, зубы, и с резким выдохом рот захлопнул. Причем сделал это с такой силой, что шелчок от удара зубов донесся до стоявших на значительном отдалении от печенега ратников.

Наступила гробовая тишина, в которой Челубей столь же неспешно и даже лениво надел на голову шлем, приподнял правую ладонь и покрутил ей в воздухе, в смысле «где же поединщик?».

Ходили слухи, что все, кто раньше бился с багатуром, были им убиты. Обладая исполинской силой, ордынец специально вооружался удлинненным, значительно более тяжелым копьем, которым он легко управлялся одной рукой. Большинство же поединщиков просто не успевали доехать до Челубея, так как были застигнуты его копьем много раньше, чем им самим удавалось атаковать противника. Опять же страшной силы удар, который, как правило, наносился в грудь, не только пробивал кольчугу или броню, но и ломал грудную клетку. И выжить после такого удара было уже невозможно.

На лице печенега застыла глинобородая полуулыбка, он закатил глаза, нарочито громко, даже со свистом втянул своими плоскими, приплюснутыми ноздрями осенний воздух, показалось, что тут же и захмелел. Конечно, багатура посещали видения, он слушал голоса степных духов и даже разговаривал с ними, испрашивая силы для рокового поединка...

И тогда Дмитрий Александрович говорит:

Вот всех я по местам расставил
Вот этих справа я поставил
Вот этих слева я поставил
Всех прочих на потом оставил
Поляков на потом оставил
Французов на потом оставил
И немцев на потом оставил
Вот ангелов своих наставил
И сверху воронов поставил
И прочих птиц сверху поставил...

2. На поединок с Челубеем Александр выехал без доспехов, но в схимническом облачении. Это означало, что параман с вышитым на нем изображением Голгофы и перетянутый крестообразно на груди ремнями из сыромятной кожи был единственной броней Пересвета, который, конечно, знал, что копьё Челубея длинней и тяжелей его копья. Значит, оно быстрее достигнет его и, скорее всего, войдет в него, но за это время он успеет доехать до печенега и атаковать его.

То есть он попытается сделать то, что не удавалось никому до сих пор – доказать багатуру, что он такой же смертный воин, как и все собравшиеся на этом поле, что только в руках Божиих смерть и жизнь человеческая, что даже и волос не смеет упасть с головы без Божественного произволения...

Дмитрий Александрович окидывает взглядом происходящее и объясняет:

А снизу поле предоставил

Для битвы поле предоставил
Его деревьями уставил
Дубами-елями уставил
Кустами кое-где обставил
Травой мягкой застелил
Букашкой мелкой населил
Пусть будет все, как я представил
Пусть все живут, как я заставил
Пусть все умрут, как я заставил...

3. Рев над полем нарастал с каждой минутой, особенно его усиливал вой монгольских стрел с костяными свистками на наконечниках. Этот вой степи входил внутрь головы и полностью лишал рассудка. Наверное, с таким нечеловеческим звуком испускали дух тысячи половецких богов – одноглазых, однуруких, безногих, что не умели ни видеть, ни слышать, ни говорить. Однако на смену им приходили другие тьмы уродливых существ в войлочных шлемах с нашитыми на них бубенцами. Они стучали в бубны, куковали, притворялись лешими или обитателями речных глубин, откуда взмыленные лошади пили воду, прижимали уши и водили безумными глазами.

После первой атаки ордынцев переславцы дрогнули и отступили к заросшему густым ельником оврагу, идти в который передовые части темника Мамаю не решились.

Дмитрий Александрович размышляет:

Так победят сегодня русские
Ведь неплохие парни русские
И девки неплохие русские
Они страдали много, русские
Терпели ужасы нерусские
Так победят сегодня русские...

4. Слух о том, что ордынцы прорвали порядки русских, разнесся быстро. Тем более что с пологого холма у деревни Куликово было хорошо видно, как полк правой руки попятился к Непрядве, оставляя за собой сотни убитых, устилая ими кривые вытопанные перелески и глинистые овраги, и даже подоспевшие на подмогу суздальцы не смогли остановить свирепую ярость монголов.

На смену коннице, невозмутимо печатая шаг, двигалась генуэзская пехота. Полностью повторяя рельеф местности, пехотинцы восходили на многометровые ледникового происхождения валуны и погружались в балки, переходили вброд устланные камнями русла потоков и медленно расползались по почерневшей целине, все более и более врезаясь в русские порядки.

Дмитрий Александрович описывает происходящее:

Что будет здесь, коль уж сейчас
Земля крошится уж сейчас
И небо пыльно уж сейчас
Породы рушатся подземные
И воды мечутся подземные
И твари мечутся подземные
И люди бегают наземные
Туда-сюда бегут приземные

И птицы поднялись надземные
Все птицы-вороны надземные...

5. Засадный полк замер.

Сотники подняли ладони вверх.

Разнеслась переключка семи труб.

Словно святой Иоанн Богослов сошел со старинной иконы, отпер уста и произнес:

– Так семь Ангелов Господних вострубили. Первый из них вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и опустились они на землю...

Сотники опустили ладони, тысячи лошадиных ноздрей выпустили струи горячего пара, и движение началось.

Все быстрее и быстрее понеслись навстречу ветви склонившихся над землей деревьев, норвя хлестнуть по лицу, все громче и громче становился рев встречного ветра, что оглушал и перекрывал грохот крови в голове.

А рот открывался, чтобы выпустить нечленораздельные звуки, и можно было захлебнуться в этом густом, насквозь пропахшем осенью потоке.

Вдруг перелесок резко оборвался, и на полном ходу засадный полк Боброка врезался в людское море.

Авангард почти в полном составе встал на дыбы, некоторые попадали с лошадей, а визг, свист, треск, лязг доспехов, лошадиное ржание и вой ордынских стрел мгновенно превратились в дикую какофонию, в хаос звуков, словно выходящий из преисподней. Чудовищную же картину побоища довершили сотни монгольских шлемов с черепами и рогами, сделанными из человеческих ребер, что металась над живыми и мертвыми, как бесчисленные демоны, побиваемые, но наступающие снова и снова.

Дмитрий Александрович полон сомнений, хотя еще совсем недавно ему казалось, что он ведаёт все:

А все ж татары поприятней
И имена их поприятней
И голоса их поприятней
Да и повадка поприятней
Хоть русские и поопрятней
А все ж татары поприятней
Так пусть татары победят
Отсюда все мне будет видно
Татары, значит, победят
А впрочем – завтра будет видно.

6. На резком ветру, доносящем приторные запахи скисающей в ожидании снега земли, заиграли тяжелые великокняжеские хоругви.

И вздрогнула земля, и заходила под ногами, и поплыли суровые лики в дождевом мареве, и заблажили собаки в станах, и надели монголы на шлемы вываренные в соли черепа своих героев, и раздался набатный колокол, и поглотил он рев сотен труб и рогов, и остановил свое течение Дон, и повернула свое течение вспять Непрядва, и встал воевода Димитрий Михайлович Боброк на колени, и начал слушать землю, как налетел ветер, что задвигал кровли деревьев и прижал к земле траву, так и конница тысяцкого Теляка Тургена налетела на сторожевой полк русских, разметала его по полю, завертелась на месте, закружились в страшном танце вываренные в соли черепа великих багатуров. Так поклоняться героям было заведено еще со времен Тимучина, а из черепов врагов делать чаши и пировать на их обезглавленных телах. Ордынцы

впадали в экстаз, закатывали глаза, специально резали себе лица ножами, натирали губы сурьмой, слизывали кровь, голосили истошно и пронзительно так, словно общались с идолами, издревле охранявшими степь до самого Дона.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.